

П. Н. Бабай

Концепт сердца в фокусе сорокинского остранения (от «Сердце четырех» к трилогии «Лед»)

«Сердца четырех» демонстрируют продуктивный для концептуалистической и соц-артовской ипостасей сорокинского письма принцип остранения как деконструкции советской плакатно-эмблематической метафорики. Формула такой деконструкции-дискредитации – в гипербуквализации, материализации эмб-

лематической метафоры-клише, которая достигается путем радикального переключения прагматических планов восприятия и интерпретации соответствующих пропагандистских интенций и сценариев, что приводит к их обнаженно остраненному абсурдистскому кон-

цептуализированию преимущественно в девиантно-перверсивных формах [3; 4; 5].

В «Сердцах четырех» интертекстуально представлен многообразный и расширительный контент идеологически-плакатной эмблематичности, так что о конкретных объектах ассоциаций говорить едва ли уместно, хоть и очевидна прямая цитатная отсылка заглавия романа – к фильму «Сердца четырех» Константина Юдина (1941) и косвенная отсылка в решениях относительно персонажей и ситуаций – к фильму «Семеро смелых» Сергея Герасимова (1936). Здесь действительно подключен максимальный метатекстовый пласт сталинско-пропагандистского лубка, с привлечением соответствующего контекста прагматики воспринимającego сознания.

С предельным напряжением сил и самозабвением герои исполняют важнейшую миссию их жизни, преодолевая преграды, сопротивление врагов, но героические усилия устранения препон ради великой цели оборачиваются – в призме сорокинского остранения ситуации – палаческими пытками и садистическими истязаниями, а святая цель, венчающая великий поход за правдой и жертва ради этой цели, оказываются гибелью в железном чреве машины смерти.

Таким образом, тотально девиантная модель эстетической мотивации в текстах типа «Сердце четырех» нацелена в самой общей перспективе на дискредитацию мифологем просветительской концепции личности советского извода: подчиненности личности неким надличностным интересам, долгу, жертвенного служения прогрессистско-утопической вере, героики обретения себя в коллективной правде, стремлениях, упованиях. Радикальной деконструкции подвергается ритуализированная формула-мифологема «класть себя, свою жизнь, свое сердце на алтарь» ради каких-то высших целей. Буквализация претворяется в осуществленности этой конечной цели в виде чудовищной машины, измочаливающей тела героев и – как высший счастливый результат и успешный итог их миссии – унифицирует их сердца, прессуя и извергая их из своего жерла: «Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги. Завращались резцы, опустились пневмобатарей, потек жидкий фреон, головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спрессованные в кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер, где были маркированы по принципу игральные костей. Через 3 минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой матерью. Сердца четырех остановились: 6, 2, 5, 5» [8:116].

Гипербуквализованная метафора получает в «кривом зеркале» сорокинского остранения неожиданно точную адекватацию, единственно возможный эквивалент подлинному ее содержанию. Это как бы ее дешифровка, перевод на внятный человеческому сознанию язык.

Более того, потенциально такая деконструкция, видимо, мыслится еще как излечение нашего видения вещей, – остранение как привитие «освеженного» взгляда на вещи.

В целевых установках этого эстетического усилия начинается ощущаться примесь некоего «пророческого» дискурса, искренняя и наивная надежда «открыть всем глаза», объяснить, где неправда, наставить на истинный путь. При всей внешней релятивности и пародийности сорокинский нарратив бесспорно и глубоко серьезно аксиологичен [2]. Парадоксальным образом сорокинские релятивно-деконструктивистские антипросветительские стратегии можно прочитывать как особую, от противного себя удостоверяющую, но тоже просветительскую в сущности интонацию.

В силу этих качеств сорокинской ценностной семантики в целом не таким уж неожиданным представляется заметный аксиологический поворот в художественных стратегиях Владимира Сорокина, сообщивших существенную трансформацию жанровой поэтике, повествовательной организации и самому принципу аксиологического остранения, в частности, в романах «Лед» и «Путь Бро», которые заявлены автором как первые две части монументального эпического замысла – «ледовой» трилогии. Весьма показательной кажется уже сама установка на эпопейность, сопряженную с соответствующим повествовательным интонированием – гротесковый контраст, эксцесс и поэтика шока отходят на задний план и исподволь растворяются в неспешной масштабности повествовательного течения, ориентированного на классически эпические образцы. Причем эта ориентация полностью лишена стилизаторски-пародийного аспекта. Она напрямую востребована новой конфигурацией художественного задания, новой системой мотиваций, новым механизмом аксиологической поэтики текста.

С этой же новизной для Сорокина связана и заметная эволюция принципа остранения. Остранение в ледовой трилогии возрастает до статуса онтологического приговора, метафизического суда над реальностью, над человеческою жизнью, над человеком как таковым. Радикальному остранению подвергается сплошь весь порядок вещей.

Автор признавался, что его мыслью в трилогии было вообразить себе взгляд на все че-

ловечество и оценку его как бы откуда-то извне, то есть смоделировать ситуацию продуктивной отчужденности саморефлексии, посмотреть вчуже на самих себя [9].

Эта точка зрения у Сорокина сформулирована предельно ригористично, человек и человеческий мир оценивается в традиционно универсалистских ценностных категориях: сон сердца, души / пробуждение как воскрешение (пробужденное/непробужденное сердце); световая метафорика в сопряжении с собирающей, соборной метафорикой братства (братья света). А.Б. Левин в связи с этим убедительно пишет о манихейских и гностических мотивах в сорокинском «Льде»: «Неогностик Сорокин повествует в своем романе о превращении обычных людей в некие светоносные сущности. Читателю сообщается, что только двадцать три тысячи таких сущностей рассеяны (это слово следует запомнить) среди миллиардов людей. Когда все двадцать три тысячи будут обращены и, взявшись за руки, образуют сакральный круг, они смогут вернуться в предвечный Свет, в котором они пребывали до создания материального мира. Сам же материальный мир при этом прекратит существование навсегда. Всё это выглядит, как предельно упрощенное, но верное изложение гностицизма» [1].

Человек непробужденный, не «брат света» видится такому ригористическому взору «мясной машиной». Изображение мира и истории мира мясных машин исполнено в духе классического острашения:

«Мы увидели мир.

И мы увидели его во времени. Мясные машины пришли в движение. Ранее каждая из них жила сама по себе. Теперь они объединялись. Объединяться их заставляла идея всеобщего братства. В прошлом она не имела такой силы среди мясных машин. Теперь же она собирала их в толпы. И заставляла забывать о прежней земной цели: личном комфорте. Эта новая идея заставила мясных машин вдруг ощутить новое родство: родство веры в коллективное счастье. Она сплавивала их. Вытягивала из каменных гробов на площади. Заставляла забывать про семьи и кровных родственников. Требовала жертвовать собой.

Такого объединения мясных машин не было ранее: только войны могли оторвать их от семей, от каменных гробиков, именуемых «домами», от денег и личного имущества. Но войны быстро кончались. И мясные машины, поубивав себе подобных, снова возвращались к былым ценностям: комфорту, семье, деньгам, личному счастью. Теперь же они объявили войну этим ценностям и учились жить только

идеей всеобщего равенства и братства. Лишенные гармонии в себе, они *яростно* искали ее в толпе. Толпа *клубилась* коллективной жизнью. Каждая мясная машина стремилась как можно скорее раствориться в толпе. И обрести коллективное счастье. Они испытывали это *новое* счастье. Ради него мясные машины готовы были убивать тех, кто не разделял их идею коллективного счастья. Тех, кто не хотел объединяться и жил прежними интересами. Это была *новая* война, не похожая на прежние. Она надвигалась. Стремительно» [7:232]. «Мясные машины яростно клубились. Они собирались. Рыли землю, плавляли металл, громоздили камни. И строили железные машины. Машины для убийства мясных машин. Тысячи железных машин выстраивались в ряды и цепочки. Они ползли по земле. Копились в каменных пространствах. Их натирали специальным жиром. Из недр Земли высасывали тяжелую кровь. И заливали в железные машины. Машины питались тяжелой кровью Земли. Они рычали и ревели. И готовились давить и убивать.

Другие железные машины могли летать. И сбрасывать на города мясных машин большие железные яйца. Которые яростно взрывались. И разрушали города. Мясные машины гибли в своих каменных пещерах. Города горели.

Эти летающие машины тоже строились в ряды. Их красили в темные и светлые цвета. Они тоже питались тяжелой кровью Земли.

Строились и другие стальные машины для уничтожения мясных машин. Одни из них умели держаться на поверхности воды и плавать. Хотя они были очень тяжелые. Они подплывали к городам и яростно метали в них железные яйца. Которые взрывались. И уничтожали города.

Были машины, умеющие плавать под водой. И топить машины, плавающие на поверхности воды» [7:259].

Но центральным пунктом, тематизирующим абсолютную переоценку ценностей у позднего Сорокина является концепт сердца. Божественный лед, прибывший на землю в виде легендарного тунгусского метеорита, обладает чудесным свойством пробуждать человеческие сердца от спячки. Человек проходит некую инициационную стадию боли и страдания (лед вколачивают в грудину молотом), чтобы пережить благодатное обретение братства и всеобщности в преображении всей жизни, всей планеты, всей вселенной. Сердца братьев говорят на своем тайном языке, более опытные сердца научают прозелитов, сердцами единятся люди в сверхчеловеческую целостность. Человек, видя мир сердцем, не различает уже очертаний этого мира, который становится некой про-

фанной эмпирикой. Даже высшие духовные ценности этого мира оказываются ложными, всего лишь «буквами на бумаге» для самообманывания мясных машин: «вижу большой портрет Достоевского, прислоненный к черной классной доске; я вглядываюсь в него; но чем больше я вглядываюсь, тем яснее понимаю – передо мной изображение совершенно незнакомого мне бородатого мрачного человека с массивным лбом; он серьезно смотрит на меня; я оглядываюсь: все пишут сочинение о Достоевском; я пытаюсь вспомнить и *понять*: что сделал этот мрачный господин? почему мы пишем сочинение о нем? кто он? <...> Четыре больших портрета висели на своих местах. Но вместо писателей в рамках находились *странные* машины. Они были созданы для написания книг, то есть для покрытия тысяч листов бумаги комбинациями из букв. Я понял, что это сон, который я *хочу* видеть. Машины в рамках производили бумагу, покрытую буквами. Это была их работа. Сидящие за столами совершали другую работу: они *из* всех сил верили этой бумаге, сверяли по ней свою жизнь, учились жить по этой бумаге – чувствовать, любить, переживать, вычислять, проектировать, строить, чтобы в дальнейшем учить жизни по бумаге других» [7:211].

Сердце, таким образом, выступает как главный и исключительный орган трансцендирования в человеке. Сорокин напрямую апеллирует к традиционной для русской философской культуры аксиоматике сердца, воспроизводя в целом оппозицию «безумного» разума и умного сердца. Однако у Сорокина это традиционное ценностно-трансцендирующее ядро сердечности-братства отягощено и осложнено некоторыми этически значимыми обстоятельствами. Братство света превращается фактически в тоталитарную секту, бесчеловечно просе-

ивающую человеческий материал в поисках пригодных для членства в братстве, не гнушающаяся возможностями репрессивного государственного аппарата, не разбирая средств, не считаясь ни с какими затратами и потерями. Роман «Лед» завершается зловещей картиной тотального распространения и засилья «оздоровительных комплексов» «Lēd», обещающих всех привести к блаженному единству в единственно правильном понимании сути вещей. Человека под видом спасения и всеединения опять загоняют в капкан без возможности свободного выбора. Машина, формулирующая окровавленные кубики сердец, как символическое буквализирование тоталитарного насилия над живым человеческим сердцем в «Сердцах четырех», представляется немногим страшнее и гаже, чем усовершенствованный комфортный «оздоровительный комплекс», стучащий в грудь куском льда, приобщая еще одно сердце к очередной утопии вечного счастья в единстве и единомыслии.

Сорокинские аксиологические стратегии, как видится, пребывают в напряженной амбивалентности: сквозь релятивную маску пародийности, стиливой игры и прочих элементов поэтики деконструкции и децентрации у Сорокина довольно явственно проглядывает взыскание некоего универсалистского начала, некоей абсолютности ценностной центрации (в данном случае эта тенденция реализуется в ригоризме всеохватного острашения, пересекающегося с трансцендирующей аксиоматикой сердца). Он бесспорно тяготеет к некоторому эквиваленту пророческого нарратива, но когда подходит к этому полюсу слишком близко, отшатывается в опасении тотальности и несвободы: «Я – не брат света, я скорее мясная машина» [9].

Литература

1. Левин А.Б. Сокровенный Lēd // <http://www.litera.ru/slova/levin.html>.
2. Лекух Д. Владимир Сорокин как побочный сын социалистического реализма // Стрелец. – 1993. – № 1(71).
3. Мережнинская А.Ю. Русский литературный постмодернизм. – К., 2004.
4. Мережнинская А.Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-х–90-х годов XX века. – К., 2001.
5. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. – М., 2001.
6. Сорокин В. Лед. – М., 2002.
7. Сорокин В. Путь Бро. – М., 2003.
8. Сорокин В. Сердца четырех // Конец века. – 1994. – № 5. – С. 4–116.
9. Сорокин В. Я – не брат света, я скорее мясная машина // <http://www.peoples.ru/art/literature/prose/sorokin/interview2.html>.

АНОТАЦІЯ

В статті розглянуто проблеми щодо ціннісної поетики творів Володимира Сорокіна, що пов'язані із категорією очуження та реалізацією концепта серця.

SUMMARY

In this article the problems according to ambivalence of valuable poetics of Sorokin are considered.